

*Женщинам, которые пережили
физическую и душевную боль,
потеряв ребенка во время беременности*

ПРОЛОГ

Элли

Десять лет назад

Я сижу на кухне — играю в карты с соседом бабушки, Мюрреем. Ему нравится помогать мне осваивать покер и джин рамми вместо обычных детских игр вроде «Уно» или «Девятки». Выглядит он интересно — волосы на его лысеющей голове немного темнее, чем усы. Он любит показывать, как может шевелить своими вставными зубами, не вынимая их изо рта. Как зачарованная, я во все глаза смотрю, как он вытаскивает штуку, которую зовет «мостом», и между зубами у него появляется огромная дырка. Проделывает он это все одним ловким движением руки, словно фокусник.

Звонит телефон, разом вырывая меня из транса. Мне всегда хотелось ответить на звонок, но в семь лет такой шанс выпадает редко. Сейчас же родителей рядом нет, так что я вижу в этом блестящую возможность и бегу к телефону, пока Мюррей не помешал.

— Здравствуйте! — кричу я в трубку. — Это дом Лафлинов. Следует долгая пауза. Меня это совершенно не останавливает.

— Не подскажете, с кем я говорю?

Из телефонной трубки до меня с шипением доносится серьезный мужской голос

— Могу ли я поговорить с Катрин Лафлин, пожалуйста?

— Секундочку, — произношу я и роняю трубку, она повисает на проводе. — Мам! — кричу я. — Мама! Тебе кто-то звонит!

Марин Монтгомери

Моя мама спит на диване. Ее рука свисает вниз, к полу, словно она хочет снова взять в пальцы сигарету, сейчас затушенную об жестяную консервную банку, стоящую неподалеку.

— Проснись, — прошу я и трясу маму за плечи. Она протестующе стонет.

— Мальш, хватит, — строго говорит она. — Дай маме спокойно поспать.

— Но тебе звонят!

— Я не могу сейчас подойти, — бормочет она. — Попроси передать сообщение. А лучше позови бабушку или Мюррея.

— Ладно, — соглашаюсь я, сама для себя притворяюсь, что не услышала последнюю часть, и бросаюсь назад на кухню. Когда я бегу, мои носки скользят по линолеуму.

— Она сейчас занята. Может, оставите свой номер телефона?

— Нет, это очень важно. В доме есть еще кто-то из взрослых, с кем я могу поговорить?

— Мой отец с нами больше не живет, — сообщаю я. Следует еще одна долгая пауза.

— А кто-то еще в доме есть?

Я жму плечами и смотрю на Мюррея, который теперь стоит прямо позади меня. Устав от взрослых и их дел, я пихаю трубку ему в руки. Он здоровается со звонящим, затем молча слушает. Черты лица Мюррея искривляются, но не в обычной для него забавной манере. Его губы искажаются в гримасе, а глаза закатываются, словно пытаются сбежать подальше, запасть, «задвинуться» глубже в голову.

— Мы вам перезвоним.

Закончив разговор, Мюррей очень осторожно вешает трубку на рычаг.

— Дорогуша, можешь убрать наши карты? — спрашивает он, подходя к столу. — И будет славно, если ты сбегаешь на заправочную станцию за колой и чем-нибудь вкусненьким.

Вручив мне пятидолларовую купюру, он подталкивает меня к двери, выгоняя на улицу, и даже забывает напомнить про то, чтобы я не говорила с незнакомыми людьми и смотрела по сторонам, прежде чем переходить дорогу. Произносит лишь:

— И не забудь постучаться в дверь, когда вернешься.

Шагая вниз по дороге, я мну в пальцах хрустящую бумагу — свидетельство того, что теперь я богата. Патрульная машина про-

Тайное становится явным

езжает мимо и заворачивает за угол. Не знаю, что заставляет меня повернуть назад, но я поворачиваю и бегу к дому, спотыкаясь из-за развязанных шнурков. Деньги совсем позабыты — я вижу машину моего отца, припаркованную у дома. Ее проржавевшая выхлопная труба и грязный номерной знак покрыты слоем пыли.

— Папа! — кричу я.

Его челюсть подергивается, когда он замечает меня. Сначала я думаю, что совсем как у мамы, когда она выпьет, но потом понимаю — что-то не так. В глазах моего отца застыло странное дикое выражение наполовину со страхом.

— Птенчик.

— Папочка, что ты тут делаешь?

— Я пришел поговорить с мамой и бабушкой.

— Ты за мной пришел? — радостно кричу я. — Мы пойдем в парк?

— Не сейчас, Птенчик. Я должен обсудить с ними кое-что важное, — объясняет он, затем берет меня за руку, и моя ладошка тонет в его огромной ладони. — Пойдем, малышка.

На улице начинают завывать полицейские сирены, и отец вталкивает меня в дом. Он с грохотом закрывает дверь и щелкает замком. Рядом с нами Мюррей. Он стоит около входа — мне показалось, что стоит уже давно. Его рука лежит на дверной ручке.

Внезапно папа выпускает мою руку и спешит к бабушке, сидящей на диване рядом с толком еще не проснувшейся мамой, и бабушка испуганно вскакивает на ноги. Она явно удивлена появлением моего отца, как и тем, что я почему-то пришла вместе с ним.

Папа делает к ней еще шаг, и бабушка ведет его на кухню — я не могу разобрать их приглушенные голоса. Рев сирен полицейских машин наполняет весь дом, заглушает любой другой звук, даже телевизор и радио. Затем слышится визг шин у подъездной дорожки.

Взгляд бабушки блуждает, останавливаясь то на маленьком кухонном окошке, то на раковине. Затем она смотрит на меня через плечо и говорит:

— Элли, марш в свою комнату.

Марин Монтгомери

Я ее не слушаю. Мои ноги словно приросли к зеленому лохматому ковру в гостиной, и я во все глаза смотрю на взрослых.

— Папочка?

Он быстро подходит ко мне, крепко обнимает, его поцелуй оставляет влажный след на щеке — обычно я это ненавижу, но сейчас это почему-то чувствуется правильным. Запах дезодоранта «Олд Спайс» липнет к коже.

— Послушай бабушку, Птенчик.

Раздается пронзительная трель дверного звонка, затем — громкие удары. Я слышу низкий голос, который произносит самые ужасные слова в этой части города:

— Это полиция!

Папа опирается на стол, продолжая шептать что-то бабушке. Мама неподвижно сидит на диване. Ее голубые глаза равнодушно следят за тем, как полицейские подходят к папе, сжимая в руках блестящие металлические браслеты.

— Я знала, что рано или поздно он кого-нибудь убьет, — бормочет мама и перекатывается на другой бок, спиной к папе. Спиной ко всем нам.

Так арестовывают моего отца. Я плачу, я кричу в голос, но двое мужчин — один из них молодой, другой уже начинает лысеть — не обращают на меня никакого внимания. Его заковывают в наручники и заталкивают в машину. Я стою и в ужасе смотрю, как его фланелевая рубашка и строительные ботинки исчезают из виду.

ГЛАВА 1

Элли

Наши дни

Надо мной нависает голубое, безоблачное небо, а впереди извивается лента асфальта и уходящее в бесконечность море травы. Я непроизвольно прикрываю глаза, когда из-за поворота появляется знакомый вид. Каждый раз он застает меня врасплох. Ты долго едешь по длинной прямой дороге, затем извилистый крутой поворот — и вот он, сложенный из кирпичей тюремный блок для мужчин-заключенных.

Я снова закрываю глаза и словно наяву вижу, как сотни мужчин колотят кулаками по бетонным стенам. На них нет рубашек — они обнажены по пояс, они режут руки о колючую проволоку, которой обнесен периметр, тщетно пытаюсь найти выход. Должно быть, так и выглядит ад.

Обитатель такого места часто в чем-то подобен золотой рыбке, которую ты выиграл на городской ярмарке, — полуживая, она безучастно смотрит на тебя огромными глазами сквозь прозрачный полиэтиленовый пакетик. Ее судьба предreshена — остается только вяло трепыхаться в тепловатой воде в ожидании, когда ты вернешься домой и будешь вынужден бросить ее безжизненное, раздутое тело в унитаз и нажать на кнопку смыва.

Большинство заключенных заслужили свое место здесь, оказались в неволе совершенно не случайно. Но только не он. Он совершенно не заслужил быть запертым здесь с теми, кто действительно представляет опасность для общества.

Марин Монтгомери

Я скрещиваю руки и крепко обнимаю себя за локти, чтобы ненароком не потянуться к дверной ручке. По счастливому стечению обстоятельств ближайшая ко мне дверь сломана. Выкидываться из машины на полном ходу — не самая умная мысль на свете, но то, что меня сейчас ждет, кажется не более привлекательным. Мне придется пройти через всевозможные заборы, пропускные пункты, тюремных охранников, досмотры, через целую кучу комнат и коридоров, чтобы в конце концов сесть на неудобный стул и оказаться лицом к лицу с ним. И сейчас это пугает меня чуть не до смерти. Пугает сильнее всего, что было в моей жизни. Если он не сможет помочь...

Моя приемная мать, Диана, бросает на меня взгляд. Она носит бифокальные очки, когда водит машину, и в этих очках ее карие глаза выглядят огромными. То, что она решила подвезти меня до тюрьмы, удивительно. Диана ненавидит делать для меня что-то, что выходит за рамки ее опекунских обязательств.

«Вряд ли встречу с твоим отцом в тюрьме можно назвать веселым пикником», — проносится у меня в голове ее голос. Я имею право на одну встречу в месяц и всегда отмечаю их в календаре. Каждый раз она почему-то об этом забывает, и список ее бессмысленных оправданий все растет. Обычно мне приходится либо просить Джастина, моего парня — у него-то есть машина, либо не ехать вовсе.

— Ты в порядке? — спрашивает Диана, приглушая звук радио. Вместо звуков песни группы «Битлз», вещающей что-то о вчерашнем дне, машину заполняет звук белого шума. Вчерашний день меня занимает меньше, чем мое детство. Детство, в котором я бы сидела в одной машине с моими настоящими родителями, а не с этой странной женщиной, которую я не могу воспринимать как близкого человека.

Я знаю, что если попробую заговорить, мой голос сорвется, так что просто киваю. Не знаю, видит ли она мой жест. Ее беспокойство очевидно — я вижу, как напрягаются ее плечи, когда мы подъезжаем к знаку «Исправительное учреждение Хаббертон». Диана быстро дотрагивается до четок, свисающих с зеркала заднего вида, и затем одним быстрым плавным движением снова

Тайное становится явным

кладет руки на руль. Интересно, думаю я, какой унылый говнюк удостоился чести назвать своей фамилией тюрьму?

Не могу представить политика, который захотел бы, чтобы его имя запомнили по убогому зданию, построенному посреди никому не нужных, заброшенных полей. Я представляю себе реакцию какого-нибудь парня из трастового фонда, получившего в качестве наследства такой вот сюрприз, и едва удерживаюсь от того, чтобы рассмеяться. Перед моими глазами встает образ — Коннор Ноулз, самый богатый ученик из нашего двенадцатого класса, и его дедушка, который сообщает ему:

— Послушай, Коннор, я хочу оказать тебе настоящую честь. Подарить не какой-то там винтажный Корветт или недвижимость, или деньги. Гораздо лучше! Твое имя, выбитое на табличке, висящей на заборе из сетки, куда люди приходят умирать.

Я прикусываю губу, когда воображаемый Коннор Ноулз, рыжеволосый и веснушчатый, замирает с таким возмущенным лицом, будто весь его мир находится на грани катастрофы. Его ноздри яростно раздуваются от несправедливости и обиды — именно так он выглядел прошлым летом, когда кто-то случайно пролил пиво на его дорожную рубашку-поло во время пенной вечеринки.

Диана совсем выключает радио, когда мы подъезжаем к забору, увенчанному заостренными наконечниками. Рядом с ним стоят угрюмые охранники с суровыми лицами. Мы обе замолкаем — количество оружия и общая серьезность обстановки вселяет испуг. Диана направляет машину через распахнутые проржавевшие ворота, прямо к зеленому знаку парковки, который возвышается вдали. Старый «бьюик» тяжеловесно сворачивает на дорогу, и Диана паркует его с гораздо большей осторожностью, чем требуется.

— Мне нужно покурить, — заявляет она, доставая полупустую пачку легкого кэмела с приборной панели. Затем распахивает дверь машины и, шаря в поисках зажигалки, продолжает: — Это место в тоску вгоняет. Я побуду пока в машине, ладно?

Я расстегиваю ремень безопасности, не сводя с нее взгляд, потом разворачиваюсь, чтобы поискать на заднем сиденье машины. Я не только ищу сумку: мне нужно выяснить, что собирается

Марин Монтгомери

делать Диана, пока я навещаю папу. Наконец я нашариваю ремень своей сумки из искусственной кожи и, склоняясь ниже, заглядываю под коврик на полу машины и под пассажирское сиденье. И вот под ним нахожу искомое — маленькую металлическую фляжку.

— Диана, — строго говорю я. Она поворачивает ко мне голову и видит фляжку в моих руках. Диана пожимает плечами. Ее маленький секрет для меня давно уже не тайна — в конце концов, мы живем вместе. Тут сложно что-нибудь скрыть.

— Только глоточек, — говорит она сквозь сигарету, зажатую в губах. Я прикидываю варианты и решаю воспользоваться возможностью.

— Тогда я везу нас домой сама.

— У тебя прав нет.

— У меня есть права, — возражаю я. — У меня машины нет. Дай мне по крайней мере сесть за руль, пока мы не выедем на шоссе. Это дало бы мне около двенадцати миль пустой дороги — а значит, необходимую для меня практику.

— Ты хочешь, чтобы я разрешила тебе сесть за руль в месте, где стражей закона больше, чем нормальных людей?

— Это вряд ли, — указываю я на очевидное преувеличение. — Ну, или можешь пить и вести машину сама, подвергая нас всех опасности.

— Ладно, ладно, — неохотно соглашается Диана и тянется за фляжкой. — Но будешь лихачить — я сама сяду за руль.

Я хихикаю. Диана, читающая нотации о надлежащем вождении, — картина настолько же смешная, как и идея о наследовании тюрьмы. Если бы не я, она бы потеряла свои права еще несколько лет назад, когда выпивка стала постоянным спутником ее жизни. Выпивка и еще азартные игры.

— Что тут смешного? — выражает она свое недовольство, и морщинки над ее верхней губой становятся еще глубже, добавляя Диане возраста. Ей едва ли за пятьдесят, но выглядит она на все семьдесят. Курение не пошло ей на пользу, впрочем, как и алкоголь.

— Ничего, — выдавливаю я.

Тайное становится явным

— Иди уже быстрее, — произносит Диана, обойдя блекло-бежевый «Бьюик-Лесабр», чтобы выпустить меня. Единственный способ открыть мою дверь — потянуть за ручку снаружи. Наши взгляды пересекаются, когда она делает приглашающий жест рукой — словно я какая-то особа королевских кровей на важном приеме. Затем Диана неловко опускает руку мне на плечо, выражая поддержку.

Я делаю последний решительный вздох и заставляю себя выйти из машины на бетонную дорогу. Тут же начинаю дрожать — наполовину от холодного ветра, наполовину от тревожного предчувствия. Сейчас мне предстоит не только войти в самую тюрьму — мне предстоит начать все-таки этот запоздалый разговор с отцом.

Нужное мне здание виднеется вдали, и я медленно иду вперед, то и дело оглядываясь на Диану через плечо. Сейчас она кажется вполонину меньше. Она сидит на капоте машины, словно зная, что мне необходимо, чтобы мне еще раз помахали рукой на прощание, иначе я просто сбегу.

Здесь четыре разных отделения — от тюрьмы общего режима до тюрьмы строгого режима, каждая находится в отдельном крыле. Я направляюсь к башенке общего режима, и мои ладони взмокли так, словно их натерли детским маслом. Я вытираю их о брюки, пока жду охранника, чтобы сообщить ему, что пришла повидаться с заключенным номер 107650. Имена здесь никакого значения не имеют — ты всего лишь еще один ублюдок на совести у работников тюрьмы. Я ничем не отличаюсь от прочих посетителей, и скучающий сотрудник исправительного учреждения почти на меня не смотрит, пока сканирует мои документы. Так же безразлично он проталкивает бейджик посетителя сквозь щель под стеклянной перегородкой.

Я жду, пока меня осматрят. Охранница велит поднять руки и сканирует меня с помощью ручного металлоискателя. Ее затянутые в перчатки ладони толкают и тормозят меня, пока она проверяет, не пронесла ли я с собой что-нибудь. Дресс-код здесь строгий. Посетителям нельзя надевать одежду голубых цветов — такую обычно носят заключенные — или зеленого с коричневым — это уже цвета рабочей одежды сотрудников тюрьмы. Ни-

Марин Монтгомери

каких сандалий или шлепок, никакой открытой одежды, минимум украшений — список можно продолжать бесконечно. Пронести сумку тоже не позволено, так что я оставляю ее здесь, пишу свое имя и отказ от претензий.

Поток посетителей несет меня к зоне для свиданий. Ее легко можно было бы перепутать со школьной столовой — пластиковые стулья, царапины на столах, светло-голубая краска. На одной стене нарисованы люди, которые держатся за руки, у стены напротив стоят торговые автоматы.

Если встать у входа и постараться разглядеть получше, становится ясно, что картину рисовали заключенные, а посвящена она человеческому многообразию и важности доброты. Потом ты замечаешь несколько деревянных возвышений у дальней стены, каждое — со своим микрофоном, и начинаешь чувствовать себя как-то не в своей тарелке, потому что у каждого микрофона сидит охранник. Их специально учат высматривать контрабанду и вообще обращать внимание на все, что может показаться подозрительным. Если они заметят, как кто-нибудь нарушает правила, из микрофона раздастся первое и последнее предупреждение.

В первый раз со мной пришла Лоретта, моя бывшая социальная работница. Все время, что мы тут были, она пыталась запугать меня до смерти. Вооруженные охранники громко выкрикивали приказы, на меня сыпались нескончаемые правила — вроде того, что обниматься или целоваться разрешается исключительно в начале и в конце свидания. Когда охранник наорал на меня за то, что я попыталась подойти поближе, я не выдержала и слезы заструились по моему лицу.

Большинство свиданий так и проходит — члены семьи всхлипывают, пока заключенные беспомощно смотрят на них, неспособные ничем помочь, кроме как неловко похлопать их по руке. После первого неудачного свидания у меня ушло много времени на то, чтобы собраться с духом и вернуться. Отстраненная холодность тюремных порядков словно преследовала меня. Я даже прикидывалась больной, когда в школе устраивали какие-нибудь мероприятия — меня пугало все, хоть отдаленно похожее на строгую официальную систему тюрьмы Хаббертон. Сейчас же я сижу, скорчившись на жестком пластиковом стуле, и сверлю взглядом

Тайное становится явным

дверь. Моя нога выбивает по плитке пола нервную дробь. Иногда охранники приводят отца всего лишь через несколько минут, а иногда это занимает и весь час.

Он не сразу меня видит. Я наблюдаю за ним: как он идет, сторбленный, голова опущена, ноги шаркают по полу, взгляд обращен вниз. Как только он переступает порог, его глаза, такого же голубого цвета, как и мои, немедленно начинают шарить по комнате. Наконец он замечает меня. Вот тогда мой отец снова становится человеком. Его плечи выпрямляются. Прибавить ходу ему не позволено, но теперь он шагает увереннее. Он дожидается, пока охранник займет свое место на стуле около микрофона и даст разрешение подойти ко мне. Отец одет в синие брюки и серую хлопковую футболку и пока стоит лицом ко мне, то ничем не отличается от какого-нибудь рабочего с фотографии сайта по поиску работы. Потом он поворачивается, и я вижу на его футболке номер — единственное, что выдает в нем заключенного. Дрожа, я встаю на ноги, всматриваюсь в его лицо. В его глаза — они немного светлее, чем мои — постепенно возвращаются краски. Они не такие яркие, какими когда-то были, но огонек надежды в его взгляде все еще теплится. Отец состарился — такие люди, как он, обычно старятся от избытка солнца, а он вроде как просто поизносился. Он никогда не говорил о том, что происходит с ним в тюрьме. Я стараюсь не представлять, как выглядит его рутинный день, и он никогда не поднимает эту тему сам.

— Элли!

Длинный, скорее даже долговязый, он быстро целует меня в щеку и заключает в объятия. В течение нескольких секунд я нахожусь в его крепких руках, чувствую, как он вдыхает запах моих волос, слышу, как он шепчет мое детское прозвище: «Птенчик». Отец пахнет табачным дымом и деревом гикори. Я знаю, что он учился здесь ремеслу. Сказал, что хочет стать плотником, когда выйдет. Ну что ж — отличное применение его знаниям.

— Садись, — говорит отец, подходя к столу, из-за которого я только что встала.

Мы меняемся местами — каждый заключенный должен сидеть лицом к охране, чтобы за ним было проще наблюдать.

— Пап... — произношу я так, что он настораживается.

Марин Монтгомери

— Что случилось? — сразу реагирует он и наклоняется вперед, но его руки лежат на столе — их должно быть видно все время.

- Сколько еще?
- Мою апелляцию не приняли.
- Так ч-что... — начинаю я, заикаясь. — Теперь все?
- По крайней мере, на ближайшие пару лет.
- Папа, я больше так не...

Будучи не в силах продолжать, я прикусываю костяшки. Ненавижу плакать, когда он рядом. Он ничего не может сделать, никак не может утешить, хотя сидит прямо напротив.

— Птенчик, — произносит он, взглядом умоляя меня прекратить, и быстро, пока никто не заметил его движения, украдкой вытирает мое лицо. — Ты же знаешь, я больше всего на свете хочу выйти отсюда. Быть с тобой.

— А в этот раз у нас все будет по-другому?

— Ну конечно, — заверяет он, виновато понуриив голову. — Я не пил уже почти десять лет. И знаю, что испоганил твое детство.

— Ты помнишь это, папочка? — спрашиваю я, выставляя вперед руку.

Он смотрит, как я поворачиваю к нему свое запястье, и видит на нем чуть красную полоску шрама.

- Похоже на ожог или шрам от пореза.
- Знаешь, как я его заработала?

Он качает головой и предполагает, что я упала с велосипеда.

- Нет.
- Обожглась, когда делала макароны с сыром?
- Даже не близко.

Он жмет плечами и говорит, что сдается.

— Помнишь, как ты всегда носил с собой карманный нож? Обычно он лежал в заднем кармане твоих джинсов. А однажды ты забыл его в грузовике. Я решила немного поиграть и взяла нож, чтобы сделать стрижку своей кукле. Моей маленькой куколке Бриджет.

— И ты случайно порезалась? — подытоживает он.